

А. М. ПАНЧЕНКО

## Юродство как зрелище

Юродство — сложное и многоликое явление, до сей поры не включавшееся в историю культуры Древней Руси. Прежде чем перейти к сути дела, я хочу напомнить о том, что юродство вовсе не обязательно связано с душевным убожеством, что среди юродивых были вполне здраво-мыслящие и даже очень образованные люди.<sup>1</sup> Хочу также предупредить, что тому, кто интересуется историей юродства, эта статья вряд ли пригодится. Это — раздел из феноменологии юродства, попытка объяснить некоторые черты этого явления, которые мне кажутся существенными. Материал статьи извлечен из житий юродивых, однако жития не рассматриваются как исторический источник. В агиографии запечатлен идеальный тип юродивого; именно о нем пойдет речь. Драма юродства, которой посвящена работа, разыгрывается не столько на улицах и церковных папертях древнерусских городов, сколько на страницах житий.

Есть ли основания считать юродство зрелищем? Есть, причем вполне достаточные. Агиографы постоянно подчеркивают, что юродивый наедине с собой не юродствует: «В день убо яко юрод хождаше, в нощи же без сна пребываше и молящися непрестанно господу богу... В нощи ни мала покоя себе приимаше, но по граду и по всем божиим церквам хождаше и молящися господеву со многими слезами... Заутра же паки во весь день... исхождаше на улицы градныя и в похабстве пребывая».<sup>2</sup> Это — стереотип, кочующий из жития в житие. Ночью юродивый молится, на людях же — никогда; днем он надевает личину безумия, и это действительно личина, потому что она пригодна только в виду толпы. Следовательно, в юродстве есть момент лицедейства.

Момент преображения отчетливо осознавался агиографами — настолько отчетливо, что допускалось сравнение юродивого с профессиональным актером. «Зрителие и слышателие, — пишет автор полного жития Василия Блаженного, — егда коего доблественна страдалца отнекуде пришедша уведят, стекаются множество, иже видети храбрость борбы, и вся тамо телесныи и мысленны сопряжут очи, якоже мусикейский художник чуден приидет, и тако подобнии вси такоже исполняют позво- руде, и со многим тцанием и песни, и гудения послушающе»<sup>3</sup> (это со-

<sup>1</sup> Обоснование см. в кн.: А. М. Панченко. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973, стр. 84—94 (раздел «Инок Авраамий, он же юродивый Афанасий»). Здесь же дана характеристика юродства как формы общественного протеста.

<sup>2</sup> Житие Проккопия Устюжского. Изд. ОЛДП, вып. СIII. СПб., 1893, стр. 16—19.

<sup>3</sup> И. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа ради московские чудотворцы. — Записки Московского археологического института, т. VIII, М., 1910, стр. 46—47, 201.

поставление — также общее место; оно заимствовано из похвального слова Иоанну Богослову, приписываемого Иоанну Златоусту и включенного в ВМЧ). Театральность юродства бесспорна, и это не удивительно, потому что в средневековой жизни вообще стихия театральности очень сильна.

«Глубоко важно проникнуться тем незыблемым, на мой взгляд, положением, — писал в свое время Н. Евреинов, — что в истории культуры театральность является абсолютно самодовлеющим началом и что искусство относится к ней примерно так же, как жемчужина к раковине... Произведение искусства... имеет в виду эстетическое наслаждение, произведение же театральности — наслаждение от произвольного преобразования, быть может эстетического, а быть может и нет... Разумеется, в конце концов и преобразование, подобно многим другим способностям человека, становится искусством, но искусством совсем другой природы, чем живопись, музыка, поэзия, архитектура и прочие искусства...»<sup>4</sup>

Театральность может сливаться с искусством, а может быть автономна от него. Театральность — это еще не театр, равно как зрелище — не всегда спектакль. Древняя Русь, как и средневековая Европа, насквозь театральна, хотя Москва до времен царя Алексея Михайловича не знала театра в нашем понимании. Разве не зрелище — парадный царский обед или «шество на осляти», когда царь ведет под уздцы лошадь, на которой восседает патриарх, а отроки, обученные загодя, устилают их путь разноцветными кафтанами? Разве не зрелище — царская раздача милостыни в ночь на большие праздники, причем приготовления к ней покрыты строгой тайной, хотя она бывает каждый год, в одно и то же время, в раз навсегда избранном месте? Я не говорю уже об обрядах — как народных, так и церковных. Хотя проявления старинной театральности чрезвычайно многообразны, однако можно предположить, что средневековые зрелища составляли уравновешенную систему. Описание этой системы, установление ее доминант — очень важная и благодарная тема для историка культуры. Свое место в этой системе занимало и юродство.

Юродство приобретает смысл только в том случае, если разворачивается на глазах у людей, если становится общедоступным зрелищем. Без постороннего глаза, без наблюдателя оно попросту невозможно. Понимая это, юродивый только наедине с собой, как бы в антракте, — ночью, а иногда и днем, если его никто не видит,<sup>5</sup> — слагает с себя личину мнимого безумия. (Повторяю, что я говорю об идеальном, так сказать, юродивом, так как на самом деле бывало и по-другому). Но лицедействует не только юродивый. Он — главное лицо драмы, но не единственное.

Можно без преувеличения утверждать, что зритель в картине юродства не менее важен, чем центральный герой. Зрителю предназначена активная роль. Руководя толпой, юродивый превращает ее в некое подобие коллективного персонажа. В этом двуединстве, в определенном соотношении юродивого и наблюдателя и состоит, как мне кажется, основная проблема юродства как зрелища. Хотя взаимная зависимость актера и зрителя здесь не подымается до уровня амебейного исполнения (в непосредственных реакциях толпы нет лицедейства), все же юродство превращается в своеобразную игру.

<sup>4</sup> Н. Евреинов. Театр как таковой. СПб., 1913, стр. 28—31.

<sup>5</sup> В житии Андрея Цареградского рассказчик сообщает, что ему удалось посмотреть, как Андрей молился днем: «Възря семо и овамо, да яко же не виде никого же, възде руде горе, творя молитву» (Житие Андрея Юродивого. — ВМЧ, октябрь 1—3. СПб., 1870, стлб. 96).

Эта игра полна парадоксов. Юродивый устанавливает очень сложные и противоречивые игровые связи с толпой. Иными эти отношения и не могут быть: они парадоксальны изначально, потому что сам подвиг юродства парадоксален. В самом деле, в юродстве уживаются непримиримые крайности. С одной стороны, юродивый стремится прежде всего к личному «спасению». В аскетическом поприятии тщеславия, в оскорблении плоти юродивый глубоко индивидуален, он порывает с людьми, «яко в пустыни в народе пребывая». С другой стороны, в юродстве есть черты общественного служения, которые чрезвычайно сильно проявились во время раскола. Народными заступниками и обличителями венчанного злодея считались и юродивые эпохи Ивана Грозного. В агиографии эти черты выражаются в формуле, определяющей активную сторону юродства: «ругаться суетному и горделивому миру». Поругание мира — это, в широком смысле, забота о нравственном здоровье людей. Здесь мы находим и социальный протест... Противоречивость юродства зафиксирована даже стилистически в ходячем оксимороне «мудрейшее юродство». Парадоксальностью «подвига» юродивого предопределяется парадоксальность юродственного зрелища. Перейдем к рассмотрению основных парадоксов.

Избирая подвиг юродства, человек «укорение приемлет и биение от безумных человек, яко юрод вменяем ими и безумен».<sup>6</sup> Это — выдержка из жития Исидора Ростовского Твердислова и одновременно — устойчивая формула в агиографии юродивых. Вот подходящие к случаю примеры. «Прият блаженный Прокопий (имеется в виду Прокопий Устюжский, — А. П.) многу досаду, и укорение, и биение, и пхание от безумных человек».<sup>7</sup> Об Андрее Цареградском в житии говорится следующее: «Зряще на нь человеци глаголаху: се нова бешенина; друзии же глаголаху, яко земля си николи же без салоса несть... а друзии пхачу его по шии, биахуть его и слинами лице его кропляху, гнушающеса».<sup>8</sup> В слове похвальном Иоанну Устюжскому, которое сочинил князь Семен Шаховской, этот стереотип также присутствует: «И ризами не одевается, и на гноищи наг пометается, и от невеглас камением и дресесы ударяется».<sup>9</sup>

Обратим внимание на то, что юродивый вовсе не стремится избежать этого «биения и пхания» (в этом он отличен от шута, у которого чувство самосохранения развито очень сильно). Напротив, он безмолвно и даже благодарно сносит побои. Исполненное тягот, страданий и поношений, юродство в источниках уподобляется крестному пути Иисуса, а сам подвижник сравнивается со спасителем, — правда в неявном виде, с помощью «скрытой» цитаты из Псалтыри (101<sub>7</sub>). Юродивый, пишут агиографы, «подобен неясыти пустыней», — т. е. пеликану, который и в средние века, и в эпоху барокко, и позднее олицетворял Христа: пеликан вскармливал птенцов своей кровью, это — символическое изображение искупительной жертвы. Если жертва — тело Христа, то и тело юродивого — также жертва: «...жертвенник свое тело сотвори, в нем же жряше жертву хваления, Аароновы жертвы богоподобнейше и честнейше».<sup>10</sup> Подражание крестному пути и делает подвиг юродства «сверхзаконным», в представлении агиографов — труднейшим и славнейшим: «...выше естества нашего подвизася».

<sup>6</sup> ИРЛИ, Дрвнлехранилище, колл. В. Н. Перетца, № 29, XVI в., л. 515.

<sup>7</sup> Житие Прокопия Устюжского, стр. 16.

<sup>8</sup> ВМЧ, октябрь 1—3, стлб. 91.

<sup>9</sup> Житие Прокопия Устюжского, стр. 244—245.

<sup>10</sup> И. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн..., стр. 45.

В чем средневековое богословие видело духовный и нравственный смысл «вышестественной любви» к кресту? Мне кажется, что этот смысл наглядно раскрывается в источнике несколько неожиданном, но тем не менее не случайном — в «Радости совершенной» из «Цветочков Франциска Ассизского».<sup>11</sup> Не случаен этот источник потому, что Франциск Ассизский, как отмечали разные авторы, — чуть ли не единственный подвижник римско-католического мира, в котором есть нечто от юродства.

Однажды зимою Франциск, идя с братом Львом из Перуджи к св. Марии Ангельской и сильно страдая от стужи, так говорил своему спутнику: «Брат Лев, дай бог, брат Лев, чтобы меньшие братья... подавали великий пример святости и доброе назидание; однако запиши и отметь хорошенько, что не в этом совершенная радость... Брат Лев, пусть бы меньший брат возвращал зрение слепым, исцелял расслабленных, изгонял бесов, возвращал слух глухим, силу ходить — хромым, дар речи — немым, и даже большее сумел бы делать — воскрешать умершего четыре дня тому назад; запиши, что не в этом совершенная радость... Если бы меньший брат познал все языки и все науки, и все писания, так что мог бы пророчествовать и раскрывать не только грядущее, но даже тайны совести и души; запиши, что не в этом совершенная радость... Брат Лев, пусть научился бы меньший брат так хорошо проповедовать, что обратил бы... всех неверных; запиши, что не в этом совершенная радость». И когда брат Лев в изумлении спросил, в чем же «совершенная радость», Франциск так ответил ему:

«Когда мы придем и постучимся в ворота обители, ... придет рассерженный привратник и скажет: „Кто вы такие?“. А мы скажем: „Мы двое из ваших братьев“. А тот скажет: „Вы говорите неправду, вы двое бродяг, вы шлаетесь по свету и морочите людей, отнимая милостыню у бедных, убирайтесь вы прочь!“. И не отворит нам, а заставит нас стоять за воротами под снегом и на дожде... Тогда-то, если мы терпеливо, не возмущаясь и не ропща на него, перенесем эти оскорбления...; запиши, брат Лев, что тут и есть совершенная радость. И если мы будем продолжать стучаться, а он... выйдет и прогонит нас с ругательствами и пощечинами...; если мы это перенесем терпеливо и с весельем и добрым чувством любви, — запиши, брат Лев, что в этом-то и будет совершенная радость. И если все же мы... будем стучаться и, обливаясь слезами, умолять именем бога отворить нам и впустить нас, а привратник... скажет: „Этакие надоедливые бродяги, я им воздам по заслугам!“. И выйдет за ворота с узловатой палкой... и швырнет нас на землю в снег, и обобьет о нас эту палку. Если мы перенесем это с терпением и радостью, помышляя о муках благословенного Христа, каковые и мы должны переносить ради него, — о, брат Лев, запиши, что в этом будет совершенная радость. А теперь, брат Лев, выслушай заключение. Превыше всех милостей и даров духа святого, которые Христос уделил друзьям своим, одно — побеждать себя самого и добровольно, из любви к Христу, переносить муки, обиды, поношения и лишения. Ведь из всех других даров божьих мы ни одним не можем похвалиться, ибо они не наши, но божьи, как говорит апостол: „Что есть у тебя, чего бы ты не получил от бога? А если ты все это получил от бога, то почему же ты похваляешься этим, как будто сам сотворил это?“. Но крестом мук своих

<sup>11</sup> Русский перевод, который я пересказываю и цитирую, сделан А. П. Печковским со списка Амаретто Манелли (1396 г.); см.: Цветочки св. Франциска Ассизского. М., 1913, стр. 27—30.

и скорбей мы можем похвалиться, потому что они наши, и о том апостол говорит: „Одним только хочу я похвалиться — крестом господя нашего Иисуса Христа“».

Юродивый в своем аскетическом, «вышестественном» поприятии тщеславия идет дальше, чем Франциск Ассизский, в известном смысле он более смел и последователен. Он не только безропотно и с любовью к мучителям терпит поношения — он постоянно провоцирует зрителей, прямо-таки вынуждает их бить его, швыряя в них камнями, грязью и нечистотами, оплевывая их, оскорбляя чувство благопристойности. На пути внешней безнравственности он заходит столь же далеко, как и киники. Это видно из поступков Василия Блаженного: Василий, рассказывает в житии, «душу свободну имея... не срамляясь человеческого срама, многаци убо чреву его свое требование и пред народом проход твори».<sup>12</sup> Автор поясняет, что блаженный делал это из презрения к телу, «душу свободну имея... яко ангел пребывая, еже беаше яко бесплотен».

Юродивого мучают и заушают, хотя должны перед ним благоговеть. Это — «парадокс зрителя». Другой парадокс, «парадокс актера», заключается в том, что сам юродивый вводит людей в мятеж и соблазн, в то время как он обязан вести их стезей добродетели. Это глубокое противоречие в полной мере осознавалось агиографами, и они делали попытки устранить его или по крайней мере ослабить. В житиях указывается, что юродивый молится за тех, кто подвергал его «укорению, и биению, и пханию». Такая молитва, конечно, не может быть примитивно истолкована как обычное, приличествующее всякому христианину исполнение евангельской заповеди: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матфей, V, 44; Лука, VI, 27—28). Сознывая, что сам подвигнул толпу на побои, что грех — на нем, а не на зрителе, юродивый просит бога, чтобы это не было вменено людям в прегрешение.

Однако такое снятие противоречия условно и недостаточно: эту молитву, как и всякую другую, юродивый творит без свидетелей — либо ночью, либо в душе, так что зрителю-«невегласу» она неведома. Молитва не имеет никакого отношения к действию, которое разыгрывается на улице, к игре, в которой участвуют толпа и подвижник-лицедей: ведь молится уже не юродивый. «Блаженный же яко в чуждем телеси все с благодарением тръпяше... и никако же зла досаждающим ему въздаваше, но токмо во уме своем глаголаше к богу: „Господи, не постави им греха сего“... И никто же ведеше добродетелнаго его житиа».<sup>13</sup>

Зрелище юродства исполнено и других парадоксов. Идеальный костюм юродивого — нагота, потому что голое тело больше всего терпит от зимнего холода и летнего зноя и наглядно свидетельствует о презрении к тленному миру (отнюдь не случайно действие в житиях юродивых протекает большею частью в зимнюю пору): «Мира вся красная отвергlesi, ничтоже на теле своем ношаше от тленных одеяний, наготою телесною Христови работая... Яко же от чрева матерня изыде, тако и в народе наг ходя не срамляясь, мрза и жжения солнечнаго николи же уклоняясь».<sup>14</sup> Знаменательно, что многие подвижники получали прозвание «нагой». Это слово в данном контексте оказывается в одном синонимическом ряду со словом «юродивый».

<sup>12</sup> И. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн..., стр. 45.

<sup>13</sup> ИРЛИ, Древлехранилище, колл. В. Н. Перетца, № 29, л. 515 об.

<sup>14</sup> ИРЛИ, Древлехранилище, Карельское собр., № 127, лл. 3 об., 9 об.

Однако нагота двусмысленна, ибо нагое тело — тот же соблазн, та же внешняя безразличность. Соблазн наготы ощутим в описании облика Иоанна Большого Колпака, прозванием Водоносец: «Положив на тело свое кресты с веригами железными, а на верху главы своея колпак великий и тяжкий носяше, и у рук своих на перстех колца и персни медяные и четки древяные носяще, и терпением своим тело свое сокрушая, Христу работая и злая же темныя духи отгоняя, и у тайных уд своих колца медные ношаше».<sup>15</sup>

Чтобы примирить «наготу Христа ради» и соблазн, проистекающий от созерцания обнаженной плоти, юродивые создали особый костюм — так называемую «рубаху юродивого». Именно «примирительное» толкование всегда дает агиография: юродивый надевает рубаху, чтобы прикрыть срам. Однако рубаха выполняла не только паллиативную функцию, — она служила также корпоративной приметой. Напомню об известном эпизоде из сочинений Аввакума, относящемся к одному из юродивых раскольниковского кружка — Федору.<sup>16</sup> Когда гонения стали нестерпимыми, Федор спросил у Аввакума, ходить ли ему по-прежнему в рубахе или надеть обычное платье, чтобы затеряться в толпе. И Аввакум благословил надеть мирское платье... Следовательно, юродивому и не нужно было заявлять о себе обличениями или нарушением общественных приличий: как только он появлялся на улице, его опознавали по одежде, как шута по колпаку или скомороха по сопели. Рубаха юродивого не только прикрывала срам, она была театральным костюмом.

Если идеальное платье юродивого — нагота, то его идеальный язык — молчание. «Юродственное жителство избрал еси..., хранение положи устом своим», — поется в службе «Святым Христа ради юродивым Андрею Цареградскому, Исидору Ростовскому, Максиму и Василию Московскому и прочим» в Общей минее. «Яко безгласен в мире живый», юродивый для личного своего спасения не должен общаться с людьми, это ему прямо противопоказано, ибо он «всех — своих и чужих — любве бегатель».

Но «безгласие» не позволяет выполнять функции общественного служения, во многом лишает смысла игровое зрелище, и в этом заключается еще одно противоречие юродства. Каким образом это противоречие преодолевалось? Разумеется, в действительности юродивых-молчалников не было. Пожалуй, только исихаст Савва Новый в период своего юродственного жития так и не отверз уста; но безмолвие Саввы не столько от юродства, сколько от исихии.<sup>17</sup> Обыкновенно же юродивые нечто говорят — по сугубо важным поводам, обличая или прорицая (всем юродивым приписывается пророческий дар). Их высказывания иногда невразумительны, но всегда кратки,<sup>18</sup> это — либо выкрики, либо афоризмы. Замечательно, что в инвокациях и сентенциях юродивых, как и в пословицах, весьма часты созвучия. Рифма должна была подчеркнуть особенность высказываний юродивых, отличие их от косной речи толпы, мистический характер пророчеств и укоризн.

<sup>15</sup> И. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн..., стр. 422.

<sup>16</sup> См.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960, стр. 98—99; ср.: А. М. Панченко. Русская стихотворная культура XVII века, стр. 85.

<sup>17</sup> См.: Патриарх Филофей. Житие и деяния Саввы Нового. Перевод П. Радченко. М., 1915.

<sup>18</sup> Иногда в житиях встречаются пространные предсмертные речи юродивых. Это — влияние агиографического канона в широком смысле слова. На фоне типичных описаний юродства эти речи выглядят явным диссонансом.

Но, вообще говоря, ни выкрики, ни афоризмы еще не создают корпоративного языка. Язык юродивых — это язык жестов (термин «жест» я употребляю условно, подразумевая коммуникативный акт посредством всякого невербального знака — жеста как такового, поступка или предмета). Именно с помощью жеста, который играл такую важную роль в средневековой культуре, и преодолевалось противоречие между принципиальным безмолвием и необходимостью апеллятивного, т. е. рассчитанного на отклик, общения со зрителем. Инвентарь жестов юродивых не составлен, смысл их не истолкован — и легко показать, что он был темен даже для некоторых агиографов. Тем не менее можно утверждать, что поиски в этом направлении не будут безуспешными. Прежде чем перейти к примерам, я хочу сделать одну оговорку. По всей видимости, нет никакого смысла подразделять жесты юродивого на общепонятные жесты-индексы и требующие расшифровки жесты-символы. Как мы сейчас увидим, в зрелище юродства жесты-индексы также приобретают символическое значение.

Выше говорилось, что юродивый провоцирует толпу, плюясь и швыряя в нее камни и грязь. Но одновременно этот провокативный поступок — жест юродивого, своего рода кинетическая фраза, причем самая распространенная и типичная. Когда скверные женщины затянули к себе Андрея Цареградского и пытались его соблазнить, юродивый «нача плевати часто и портом зая нос свой».<sup>19</sup> Почему он так поступил? Оказывается, не для того, чтобы оскорбить и обличить грешных блудниц. Андрей Цареградский узрел, что в толпе соблазнительниц стоит смрадный черт, «блудный демон», — т. е., по всей видимости, Купидон.

Василий Блаженный, скитаясь по улицам Москвы, задерживался у домов, «в нихже живущии людие живут благоверно и праведно и пекутся о душах своих, ... и ту блаженный останавлиаяся, и собираше камение, и по углам того дома меташе, и бияше, и велик звук творяше».<sup>20</sup> Напротив, «егда же минуяше мимо некоего дому, в нем же пиянство и плясание, и кощуны содевахуся, и прочия мерзкая и скардная дела творяху, ту святыи останавлиаяся, и того дому углы целоваше и аки с некимп беседоваше яже человеком непонятным разговором». Значение этих загадочных для наблюдателей жестов, оказывается, вот в чем: в дома благочестивых праведников и постников бесовская сила проникнуть никак не может, «бесове внеуду онаго дому по углам вешаються, а внутрь внити не могут», и юродивый, которому дано видеть утаенное от простых очей, их-то и побивает камнями, «да не запинаят стопы праведных». В домах пьяниц, блудников, зершников и кощунников бесы ликуют и радуются, «аггели же божии хранители, приставленнии от святаго крещения на соблюдение души человечесте, в том дому во оскверненном быти не могут». Этых-то ангелов, уныло плачущих вне дома, и лобызал Василий Блаженный, с ними он и беседовал «непонятным разговором» — на небесном языке.

В основе описанных жестов также лежит парадокс. Иногда даже создается впечатление, что парадоксальность — это как бы самоцель для юродивого, что она необычайно притягательна и для агиографии, и для народных легенд. В юродстве парадоксальность выполняет функцию эстетической доминанты. О том же Василии Блаженном рассказывали, что он на глазах потрясенных богомольцев разбил камнем чудотворный образ божией матери на Варварских воротах. Оказалось, что на доске под святым изображением был нарисован черт.

<sup>19</sup> ВМЧ, октябрь 1—3, стлб. 92.

<sup>20</sup> И. И. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн..., стр. 85.

Отчуждая себя от общества, юродивый и язык свой отчуждает от общеупотребительного языка. Однако жесты юродивого должны быть вразумительны наблюдателю: иначе нарушится связь между лицедеем и зрителем. Юродивого понимают потому, что язык жестов национален и консервативен. Это доказывается фольклором. Приведу выдержки из легенды «Ангел», изданной А. Н. Афанасьевым.<sup>21</sup>

«Нанялся ангел в батраки у попа... Раз послал его поп куда-то за делом. Идет батрак мимо церкви, остановился и давай бросать в нее камень, а сам норовит, как бы прямо в крест попасть. Народу собралось много-много, и принялись все ругать его; чуть-чуть не прибили! Пошел батрак дальше, шел-шел, увидел кабак и давай на него богу молиться. „Что за болван такой, — говорят прохожие, — на церковь камня швыряет, а на кабак молится! Мало бьют эдаких дураков!“». Потом ангел-батрак объясняет попу истинный смысл своих поступков: «Не на церковь бросал я камня, не на кабак богу молился! Шел я мимо церкви и увидел, что нечистая сила за грехи наши так и кружится над храмом божьим, так и лепится на крест; вот я и стал шибать в нее камнями. А мимо кабака идучи, увидел я много народу, пьют, гуляют, о смертном часе не думают; и помолился тут я богу, чтоб не допускал православных до пьянства и смертной гибели». Эта легенда — фольклорный аналог типичного жития юродивого, с той разницей, что легенда сохранила только сюжетные эпизоды, опустив размышления и сентенции. Легенда показывает, как прочно укоренилось в народном сознании парадоксальное толкование описанных жестов.

Парадоксальность, присущая юродивым, свойственна также персонажам сказок о дураках. «Юродивый» и «дурак» — это, в сущности, синонимы. В словарях XVI—XVII вв. слова «юродство» и «глупость» стоят в одном синонимическом ряду. Понятно поэтому, что сказки о дураках должны стать одним из важнейших источников для исследования юродства.<sup>22</sup>

Привлечение фольклорных материалов проясняет смысл одного из загадочных жестов Прокопия Устюжского. Прокопий, как рассказывает агиограф, «три кочерги в левой своей руке ношаше... И внегда же убо кочерги святого простерты главами впрямь, тогда изобилие велие того лета бывает хлебу, и всяким иным земным плодом пространство велие являюще. А егда кочерги его бывают непростерты главами вверх, и тогда хлебная скудость является и иным всяким земным плодом непространство и скудость велия бывает».<sup>23</sup>

Как видим, уже в самом описании этого жеста есть попытка толкования, попытка установить скрытую связь между жестом и событием, которое этот жест обозначает. Простертые вверх кочерги знаменуют «велие пространство» земных плодов, а непростертые — непространство. Это, конечно, не более как игра слов, случайная эвфония, к истинному смыслу жеста она отношения не имеет и иметь не может: жест комментируется речью, что в принципе непозволительно. Однако такая попытка вполне естественна, потому что три кочерги Прокопия Устюжского вообще были камнем преткновения для агиографов. В слове похвального князя Семена Шаховского читаем: «С трети жезлы хождаше, и тем пресвятую Троицу прообразоваше».<sup>24</sup> С. И. Шаховской пошел

<sup>21</sup> А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды. Ред. С. К. Шамбинаго. М., 1914, № 26, стр. 189—191.

<sup>22</sup> Эта мысль подсказана мне Д. С. Лихачевым.

<sup>23</sup> Житие Прокопия Устюжского, стр. 37—38.

<sup>24</sup> Там же, стр. 242.



по другому пути, он основал интерпретацию на числе, однако от сопоставления с Троицей жест Прокопия Устюжского вовсе не стал понятнее.

Между тем кочерга используется в свадебном обряде. Выходя на сватовство, связывают вместе кочергу и помело, изображая жениха и невесту. То же находим в загадках (кочерга и печь). Иначе говоря, кочерга — фаллический символ; если учесть это, три кочерги Прокопия Устюжского лишаются всякой загадочности. Напротив, воздвижение кочерги для предсказания плодородного года выглядит вполне традиционным. Агиографы не могли понять этот жест, так как искали книжные объяснения. Привлечение материала свадебного обряда решает дело.

В зрелище юродства жест выполняет коммуникативную функцию: с помощью жеста юродивый, подобно миму, общается со зрителем. Но иногда жест становится игровым, парным. Лицедей бросает камешки в толпу — толпа отвечает ему тем же. Все юродство, говоря фигурально, это жест — загадочный и парадоксальный.

Юродивый смеется — и это по видимости грех для подвижника, а зритель, если в нем есть хоть крупица нравственного совершенства, должен плакать, как плачет юродивый наедине с собою.<sup>25</sup> Юродивый наг и безобразен, а толпа обязана понять, что в этом скудельном сосуде живет ангельская душа. Мне уже приходилось писать, что это безобразие согласовалось с раннехристианским идеалом, когда христианство еще не примирилось с красотой, с изящным искусством, когда плотская красота считалась дьявольской. В «Деяниях Павла и Теклы» апостол Павел изображен уродцем. У Иустина, Оригена, Климента Александрийского и Тертуллиана отражено предание о безобразии самого Христа. Это значит, что Иисусу приписывалась одна из черт, которые в ветхозаветные времена принимались за мессианские.<sup>26</sup>

Конечно, ни зрители, ни юродивый не знали этой древней традиции. Они могли также не учитывать того, что юродство как бы повторяет крестный путь спасителя, ибо эта мысль относилась к сфере богословия, доступной далеко не каждому. Но общая посылка, на которой произошло юродство, была более или менее очевидной для всех: красота и тело — ничто, нравственность и спасение души — все. Это — сознательное отрицание красоты, опровержение общепринятого идеала прекрасного, точнее говоря, перестановка этого идеала с ног на голову и возведение безобразного до степени эстетически положительного. Цель юродивого — благо, польза, личная и общественная, а благо не может зависеть от плотской красоты. Впрочем, благо никак не вытекает и из безобразия, и это — также один из парадоксов, характерных для юродства.<sup>27</sup>

Для понимания феномена этот парадокс небезразличен. Будучи полемически заострен против общепринятых норм поведения, апофеоз телесного безобразия преследовал духовно-нравственные цели. Однако в то же время он подчеркивал уникальность юродства в системе средневековых зрелищ. Юродство ярким пятном выдавалось на фоне официальных

<sup>25</sup> Один из словесных стереотипов, вызванных к жизни юродством, звучит так: «Во дне убо посмеяхся ему (миру, — А. П.), в ноши же оплакаа его» (ИРЛИ, Древлехранилище, колл. В. Н. Перетца, № 29, л. 524). Хочу еще раз напомнить, что тот юродивый, о котором идет речь в этой статье, — юродивый литературный, персонаж житий и легенд. Реальный юродивый мог плакать и перед зрителем. Аввакум вспомнил о юродивом Афанасии, своем духовном сыне: «Плакать зело же был охотник: и ходит и плачет. А с кем молыт, и у него слово тихо и гладко, яко плачет» (Житие протопопа Аввакума, им самим написанное... , стр. 100).

<sup>26</sup> См.: Эрнест Ренан. Жизнь Иисуса. СПб., 1906, стр. 61, прим. 4.

<sup>27</sup> Ср.: А. М. Панченко. Русская стихотворная культура XVII века, стр. 89.

действ, церковных и светских, с их благопристойной красотой и торжественным чином. Но даже в сравнении с народным карнавалом, со скоморошьями представлениями, где царило безудержное веселье, юродство потрясало зрителя. Самое безобразное зрелище претендовало на роль зрелища самого душеполезного, и это еще один парадокс юродства.

На поверхностный взгляд, все эти противоречия могли быть устранены без особых затруднений: ведь достаточно зрителю осознать, что на юродивом почует благодать, как все игровое действие разрушится: швыряние камней и плевки не будут возмущать толпу, нагота не будет резать глаза, а эпатирование безнравственностью не оскорбит чувство приличия. Казалось бы, проникнуться таким настроением легко: к синодальному периоду православная церковь чтит несколько десятков юродивых, и если не полные жития их, то службы и проложные памяти были ведомы рядовым прихожанам. В службах повторялись мотивы «биения, и укорения, и пхания от невеглас», и богомольцам следовало бы понять свою вину. И все-таки время текло, а «безумные человеки» не хотели ничему научиться. В чем тут дело, отчего драма юродства разыгрывалась веками, отчего занавес опустился только при Петре, когда Синод перестал признавать юродивых подвижниками?

Один из основных постулатов церкви гласит, что святость может быть установлена лишь по смерти, если бог почитит подвижника посмертными чудесами. В этом отношении юродивый подобен затворнику, пустыннонику или столпнику. Но при жизни он отличается от них, и отличается очень сильно. Если самая благочестивая жизнь — еще не порука святости, то бесспорно по крайней мере, что такая жизнь благочестива. О юродивом же до его смерти ничего определенного сказать нельзя. Может быть, это юродивый «Христа ради», а может быть — мнимоюродивый, и тогда позволительно обращаться с ним так, как обращались с Прокопием устюжские нищие: «Иди ты да умри, лживей юроде, зде бо от тебе несть нам спасения!»<sup>28</sup>

Лжеюродство становилось предметом церковных установлений. В указе патриарха Иоасафа от 1636 г. «о прекращении в московских церквах разного рода безчинств и злоупотреблений» замечено, что в храмах «чинится мятеж и соблазн», и в этом среди прочих обвиняются лжеюродивые, которые сделали из юродства промысел, дающий пропитание. Они «творятя малоумны, а потом их видят целоумных».<sup>29</sup> К обвинению в лжеюродстве прибегали церковные и светские власти, когда была нужда расправиться с обличителем. В отличие от юродивого «Христа ради» со лжеюродивым можно было делать все что угодно. Как известно, юродивые Федор и Киприян, сподвижники Аввакума, были казнены.

Для толпы распознавание юродивого «Христа ради» от мнимоюродивого было невозможно. Если рассматривать феномен не апологетически, а с позиции здравого смысла, то разница между мистическим преображением и притворством не может быть замечена. Противопоставление юродства лжеюродству было аксиомой для древнерусского человека, но при созерцании юродственного зрелища он не в состоянии был решить, кто лицедействует перед ним — святой или убогий дурачок, подвижник или притворщик. Поэтому зрелище юродства с его драматическим напряжением и парадоксальностью разыгрывалось снова и снова, пока иные времена, иные аксиомы и иные зрелища не отодвинули его в область предания.

<sup>28</sup> Житие Прокопия Устюжского, стр. 33.

<sup>29</sup> Акты Археологической экспедиции, т. III. СПб., 1836, № 264, стр. 402.